

Владимир Короленко

Прохор и студенты



Владимир Галактионович Короленко

Проход и студенты

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2669275

Аннотация

«Он был жулик. Это слово определяло его профессию, а с годами даже стало чем-то вроде официального „звания“. Его имя было Прошка. Но так как на Выселках, где он жил, существовали и другие Прошки, то иногда выходили недоразумения; поэтому обыватели считали нужным, для большей точности, прибавлять к собственному имени эпитет „жулик“...»

Содержание

I	4
II	15
III	31
IV	41
Примечания	68

**Владимир Галактионович
Короленко**
Прохор и студенты
*(Повесть из студенческой
жизни 70-х годов)*

I

Он был жулик. Это слово определяло его профессию, а с годами даже стало чем-то вроде официального «звания». Его имя было Прошка. Но так как на Выселках, где он жил, существовали и другие Прошки, то иногда выходили недоразумения; поэтому обыватели считали нужным, для большей точности, прибавлять к собственному имени эпитет «жулик».

– Прошка...

– Который?

– Жулик.

Впоследствии эпитет так тесно сросся с именем, что одно без другого не употреблялось. Кабак разнес Прошка-жулик, и дачника оскорбил Прошка-жулик, и Прошка-жулик попал в кутузку, и Прошка-жулик один на четырех огород-

ников выходил, причем одержал победу.

Итак, он был жулик и кулачный боец. Росту среднего, в кости широк, коренаст и неуклюж в высокой степени. Не особенно умное, но не лишенное некоторого добродушного лукавства лицо отличалось резкими особенностями, знаменовавшими обе вышеупомянутые профессии. Прежде всего зрителя поражали его лоснящиеся мясистые скулы, находившиеся как бы в состоянии хронической припухлости. Во-вторых, он никогда не смотрел прямо. Если же случалось, что его маленькие заплывшие глазки исподтишка поднимались на вас и встречались с вашим взглядом, то они тотчас же тревожно мигали, как будто опасаясь удара по физиономии. При этом мясистое плечо Прошки-жулика производило рефлексивное движение, напоминавшее о готовности к отпору.

Ходил он лениво, с развальцой. Никогда, даже во время кулачного боя, он не ускорял движений. Стоя на месте, всегда в самой середине свалки, он только расставлял пошире ноги, укреплялся в устойчивой позе и начинал работать. Он не юлил, не подставлял ног, не уклонялся. Он напрягался, заносил руку, захватывая размахом широкое пространство, и пускал кулак не целясь, рассчитывая на его тяжесть и в полной надежде, что он сам найдет свое место. И кулак попадал.

Прошка-жулик считался почти непобедимым. Правда, его физиономия бывала нередко в крови, а хроническая при-

пухлость щек достигала порой такой степени, что Прошка терял всякое подобие человека. Все это указывало, что временами и он попадал в затруднительное положение. Но это бывало лишь в начале военных действий, когда противники облепляли Прошку со всех сторон, точно рой комаров. В эти минуты он бывал до жалости беззащитен и старался только укрепить позицию. Для этого он предварительно лягался одною ногой и ставил ее на расчищенное место; затем он точно так же пристраивал другую. Тогда наступал критический момент боя. Прошке нужно было расчистить место для размахов руками. И вот одна рука его тяжело взлетала над головами и грузно шлепалась в массу. Туловище Прошки по инерции подавалось в ту же сторону; затем взлетала и шлепалась другая рука, и опять туловище поворачивалось в сторону размаха. Движения становились правильными. Прошка работал. В противных рядах начиналось смятение, а Прошка переходил в наступление. Но и при этом он действовал подобно тяжелой артиллерии. Ступит шага два вправо, пустит кулак и крикнет, как дроворуб, колющий тяжелую плаху. Затем подастся влево и опять крикнет. Одержав решительную победу, Прошка останавливался, обтирая лицо рукавом ситцевой рубахи, и шел к пруду, чтоб обмыть припухшее и покрытое кровью лицо. Затем он направлялся в «Выселковский трактир», где его сторонники ставили полуштоф.

У Прошки была семья, состоявшая из старика-отца,

взрослой сестры и двух малолетков – сестренки и брата. Отец был некогда кровельщик, но в последние годы, вследствие громадного количества в разное время выпитой водки, приобрел вредную привычку падать с покатых крыш на землю. Падения эти, правда, по особенной милости судьбы, совершались как-то так счастливо, что старик не терпел при этом серьезных повреждений, на что не без гордости указывал своим заказчикам; тем не менее, последние стали воздерживаться, чтобы не доставлять старику случая для подобных упражнений. По этой причине у почтенного родителя было много свободного времени, которое он старался по возможности провести в трактире. Но денег у него своих не было; старик поступил всецело на Прошкино иждивение.

Старшая Прошкина сестра была девица очень легкого поведения, а эта профессия, как известно, не развивает семейных добродетелей. «С Дуньки-то старику взятки гладки», – говорили соседи.

Прошка один кормил свою семью, то есть отца и малолетков. Последние выростали на выселковской площади, глядя на отца, на сестру, на брата своими детски-наивными глазами. В этих глазах рано засветилась недетская дума. Казалось малолетки обсуждали три пути, какими шли их ближайшие родственники, решая про себя, какой из них представляет наиболее удобств.

Нрав у Прошки был беззаботный, и его отношения к семье были отмечены скорее добродушием, чем особенною по-

печительностью. Если ребята иногда по два дня шатались без пищи, зато на третий получали в изобилии пряники. Что же касается, старика, то ему, как он нередко говаривал сам, в пище надобности не предстояло. «По старости лет я, братцы, пищи не потребляю», – говорил он, мигая слезящимися глазами.

По старости лет, он потреблял только водку с весьма ограниченной закуской.

И надо отдать Прошке справедливость: он редко забывал обязанности доброго сына. Бывало, напьется до невозможности, передерется с друзьями и недругами, прокутит на мировую последнюю наличность, вместе с разнообразными и постоянно меняющимися кошельками, но все же перед уходом вытащит, откуда-то заветный двугривенный: «Наливай посудинку старичку почтенному... Я долён помнить... Потому – он меня выпитал».

У Прошки было благородное сердце. Кроме того, он, очевидно, был уверен, что воспитание, данное ему отцом, заслуживало с его стороны благодарности.

Выселки, где проживал Прошка, находятся под Москвой, в соседстве с одним высшим учебным заведением.

Заведение это, с дорогими выпуклыми стеклами, с «дворцом», с музеями, лабораториями и парком, раскинулось над широким прудом, ближе к Москве. Выселки скромно отодвинулись на другой берег пруда, спрятавшись среди жидкого ельника.

И именно «отодвинулись»... Добровольно ли? – это вопрос. Достоверное выселковское предание вещает, что нынешние владения ученого учреждения состояли некогда под рукою выселковских обывателей или их ближайших предков, которые составляли тогда большую крестьянскую общину и жили «на той стороне». Было это давно. Тогда, говорят, «родитель» не падал еще с крыш, а занимался хлебопашеством на своей собственной ниве. Но в интересах науки дела изменились. Смутное предание говорит о сопротивлении науке со стороны деревни, не желавшей уступить в ее величавом шествии, и о печальных последствиях этого сопротивления. Как бы то ни было, когда улеглись эти доисторические туманы, наш рассказ застаёт «Выселки» – последний обломок крестьянского «общества» – скромно приютившимися среди жидкого ельника, за плотиной.

Это был жалкий обломок, какая-то кучка случайных существований. Землей выселковцы не занимались. «Родитель», как уже сказано, был кровельщик, один из домовладельцев портняжил, другой – шил сапоги, большинство отдавали «дачи» под летние помещения или содержали нахлебников-студентов, находясь, таким образом, в зависимости от чужих, «пришлых» людей; некоторые работали на ближней фабрике. Было и несколько темных субъектов – более или менее предосудительных профессий.

Домики, или, по-местному, «дачи», стояли кое-как, враспыленную, вокруг небольшой площади, у пруда. На эту пло-

щадку протолкались, оттесняя скромных соседей, три «заведения»: ресторан, кабак, имевший вид трактира, и просто кабак. Нечто вроде длинной улицы, примыкавшей к этой площадке, вмещало в себе еще два кабакообразных заведения.

Площадь почти во всякое время дня и ночи украшалась единственным выселковским «фиакром». Так звали студенты совокупность старой-престарой клячи, еще более древней извозчичьей пролетки и совершенно ветхого возницы – Ивана Парфенова. Иван Парфенов в отдельности имел еще другое название: «Мужичок с ноготок, борода с локоток». Название это дано было старику теми же студентами, склонными к насмешкам, и довольно верно выражало соотношение между различными частями этой своеобразной фигуры. Иван Парфенов, как и родитель Прошки, пищу тоже употреблял в весьма ограниченном количестве, но выпить любил. У него не было доброго сына, а только кляча, но кляча его кормила плохо, отчасти, вероятно, потому, что и он ее недокармливал. Эта кляча с растопыренными ногами и понуро повисшею мордой, ветхая пролетка, покрытая пылью, и сам Иван Парфенов, с длинной бородой и согнутой спиной, жарились на выселковском припеке в вечной готовности доказать желающим свою неспособность к передвижению... Иногда профессорские кареты и щегольские московские пролетки, резво промчавшись по плотине, становились рядом с «фиакром». Тогда горькая выселковская судьбина иллюстрировалась контрастом довольно ярко. Иван Парфе-

нов относился к этому совершенно пассивно.

Что касается Прошки, то он «работал на перекрестке».

От академии ведет к Москве шоссированная дорога. Начинаясь тотчас за последним академическим зданием, она стрелой пробегает между двух стен густой еловой и сосновой рощи. За четверть версты от академии начинались дачи, разбросанные кое-где по сторонам дороги. Еще версты через две выглядывал из веселого березняка последний домик, окна которого светили в темные ночи на обширный пустырь. У ворот этой дачи стояла будка, в коей, по слухам, предполагался ночной сторож, существо в точном значении слова мифическое, так как его никогда никто не видел¹.

Наконец, еще четверть версты – и запоздавший путник достигал так называемого «перекрестка». Дорога расходилась: одна ветвь сворачивала под прямым углом влево, к Москве, что и значилось на тонкой дощечке, прибитой к толстому вертикальному столбу; другая вела вправо, к парку со многими увеселительными заведениями, что опять-таки указывалось перстообразною дощечкой. Третья доска протягивалась назад, к академии. На каждой доске днем можно было прочитать соответствующие надписи, и кто-то к ним прибавил свой комментарий. На столбе ножиком было начарапано: «Пойдешь налево – кошелек потеряешь, пойдешь направо – оберут, как липку»... Была еще прямая тропинка, пролежавшая торфяным болотом и пустырями мимо неболь-

¹ Рассказ относится к первой половине 70-х годов.

шой шоколадной фабрики. Узким переулком она выбегала в глухое предместье, так называемые Бутырки.

Поздним вечером или глухую ночью этой тропой рисковали ходить только совсем беспечные люди: загулявший мастеровой, которому море по колена, студент, возвращающийся с затянувшейся в Москве сходки. Остальные пешеходы предпочитали широкую дорогу, отделенную от пустырей канавами. Дорога эта встречалась затем с длинным опустевшим шоссе, уныло тонувшим в сумрачной дали; слева слышались протяжные свистки ночных поездов, справа доносился глухой рокот столицы, далеким заревом отражавшейся на темном небе.

Еще поворот – и счастливый путник вступал в Бутырки, которые, впрочем, пользовались также сомнительною репутацией.

Около половины первого ночи по направлению от Москвы раздавалось шарканье и позванивание бубенцов, скрипение, постукивание и топот лошадей. Это проезжал последний «дилижанс», старый закрытый рыдван или открытая линейка, битком набитая пассажирами из академии. На козлах сидел престарелый кучер с огромной седой бородой во всю грудь. Лошади были древние, и все сооружение напоминало по стилю выселковский «фиакр», только в большом масштабе. Колесница в половине первого продвигалась мимо перекрестка, рассыпая по пустырям drobные звуки бубенцов, и затем утопала в перспективе длинного шоссе меж двумя сте-

нами сосновой рощи. После этого дорога стихала... Только из парка издали доносились звуки оркестра. Там веселье длилось всю ночь... И всю ночь туда и оттуда неслись лихачи, и порой, выписывая мыслете, беспечно тащились пьяные гуляки; шли кучками, обнимались, ссорились, орали песни, отставали, барахтались, подымались, опять падали. Порой мирно засыпали у дороги... Наутро их ждало неприятное пробуждение. Порой из бестолкового пьяного бормотанья выносился вдруг громкий крик: «кар-раул!» Заливалась где-нибудь на даче собака... Потом опять наступала тишина...

В эти места часто наведывался Прошка. В благоприятную погоду, то есть в сумрачные темные вечера, когда на небе стояли тучи, а на земле зги не было видно и огонек последней дачи казался далекой звездочкой в тумане, Прошка направлялся к перекрестку своею ленивою походкой. Он любил это место. Здесь ему было удобно. В придорожных канавах росла мягкая травка, на которой можно было не без приятности провести часы ожидания. Прошка любил помечтать, лежа на спине. Он слушал, как тихо шепчутся черные елки, как бежит по траве ночной ветер, по временам заноса в темный пустырь обрывки глухого столичного шума или мягкие переливы ресторанного оркестра.

Если накрапывал дождик, Прошку это не смущало. Он тогда спокойно усаживался под широким зонтом, которым добрые люди накрыли на этот случай придорожный столб с перстообразными дощечками. Да, все здесь было приспособ-

соблено для Прошкина удобства. Ему не мешала даже сторожевая будка, смутно маячившая вдали у ворот крайней дачи. Совершенно напротив. Мифический сторож служил в некоторых случаях Прошкиным целям, вводя в заблуждение неопытных путешественников. «Будка! – думал путник, в котором вид пустырей возбуждал нерешительность. – Стало быть, имеется сторож». И неопытный путник с легким сердцем направлялся к перекрестку...

Но, вместо сторожа, к нему из канавки, или из-под столба, или, наконец, увы, из той же будки выходил Прошка неторопливою походкой молодого медведя и произносил:

– Дозвольте, господин, огоньку... закурить цыгарку.

А за ним, из тех же мест, выплывала в сумраке дюжая фигура какого-нибудь более или менее случайного Прошкина знакомца и товарища, с которым его свела темная ночь и общность интересов.

II

С некоторых пор тоскливое раздумье стало все чаще посещать беззаботную Прошкину голову...

Москва – город своеобразный, – это известно всем. Нужно сказать, однако, что это свойство Белокаменной с годами выдыхается: культура проходит и по ней своими нивелирующими влияниями. Конечно, исторические памятники, царь-колокол, царь-пушка, Василий Блаженный остаются на местах, но многие специфические, чисто этнографические особенности Москвы исчезают постепенно и незаметно. Вот, например, в то время, о котором идет речь, еще водились на Москве так называемые «мушкетеры».

Происхождение этого романтического войска, исчезнувшего уже всюду в Европе, объяснялось тем обстоятельством, что в цейхгаузах сохранилось много кремневых мушкетов, давно вышедших из употребления. Чтобы казенное имущество не пропадало напрасно, начальство придумало вооружить ими бутарей при полицейских участках, дав им еще на придачу столь же архаические сабли. Они назывались мушкетерами. Мушкеты у них, конечно, не палили, сабли порой не вынимались из ножен, но все же мушкетеры, стоя на карауле у чижовок, имели вид очень интересный и придавали самой чижовке значительный исторический колорит. Теперь этот специфический вид москвича уже вывелся. Выводится

также и настоящий московский бутарь исконного типа. Распущенная фигура, рыжий мундир, кепи с изорванным козырьком, красный нос – таковы были главнейшие внешние признаки этого вида. Любовь к выпивке, пристрастие к хорошей понюшке табаку и чрезвычайная беззаботность относительно внешних событий – таковы были главные особенности его характера. Жил он в будке, днем сидел на тумбе или беседовал в ближайшей харчевне с приятелями. Когда наступала ночь, он уходил в будку и мирно спал, как может спать человек с чистою совестью. Если случалось кому-нибудь обратиться к нему с вопросом, как найти такой-то переулок или дом, он сначала мерял спрашивающего глазами с головы до пяток, и если был в духе, то разъяснял более или менее благодушно:

– Ступай прямо. Дойдешь до Ивана Парамоныча, вороти на Семена Потапыча. Тут за Феклистовым вторые ворота.

Если же его заставляли не в духе, то, оглядев вас все-таки с головы до ног, он отворачивался молча или советовал идти своей дорогой, не беспокоя начальства. Свое назначение он видел в том, чтобы существовать именно в известном месте и своею амуницией напоминать обывателю о существовании правительства. До остального ему не было дела.

Вид этот исчезает постепенно вместе с покосившимися заборами и масляными лампами доброго старого времени. И вместе с железными решетками и газовыми (а тем паче электрическими) фонарями все шире и дальше от центров к

окраинам Москвы получает распространение вытесняющий его вид полицейского прогрессиста, которому явно принадлежит будущее. Орлиный взгляд, грудь колесом, молодцеватая поза (точь в точь фигура с какого-нибудь монумента), шинель без пятнышка, лощеная амуниция – таковы его наружные признаки. Бдительность и строгость – таковы отличительные свойства его души. Он неослабно и неустанно заботится об обывателе. С одной стороны, сознавая себя стражем общественной безопасности, он блюдет, чтобы обыватель не подвергся обиде; с другой – он уже знает или, во всяком случае, подозревает в самом обывателе возможность если не прямо преступных намерений, то преступного настроения...

Старый тип постепенно вымирает. Вы увидите его еще кое-где, в глухих частях или на самых окраинах, у Камер-Коллежского вала, или у Марьиной рощи, вообще всюду, где его тусклая, порыжелая, невзрачная фигура может сливаться с серыми заборами и старыми зданиями, не нарушая общей гармонии. Но зато всюду, где раздаются звонки конно-железных дорог, где стройно стали ряды чугунных фонарей, где пролегли широкие и порядочные мостовые, – его сменил уже тип новейшей формации.

И вот, в тесной связи с этим процессом, Прошке становилось все грустнее жить на белом свете. Всякий промысел требует приспособления к изменяющимся обстоятельствам, а Прошка не чувствовал себя способным к такому приме-

нению. Бывало, когда темной ночью какой-нибудь молодец проходил с ломом (фомкой) или иным орудием своего промысла мимо будки, будочник смотрел на него равнодушным взглядом. Зевнув и понюхавши табачку, он уходил в свою будку и, располагаясь на сон грядущий, сообщал «будочнице»:

– Прощел, слышь, *один* какой-то.

– Ну? – спрашивала будочница.

– Лом у него... Как бы где-нибудь поблизости не вышло качества... Пойтить бы по-настоящему... А?

– Вот еще... была надобность, – зевая, отвечала супруга. – На то сторожа... Слышишь, чай.

Будочник прислушивался. В темноте с разных сторон, на разные голоса стучали трещотки, лаяли собаки. Темнота кипела звуками... Сомнения будочника исчезали. Огонек в окне угасал, и будка становилась явно нейтральным местом по отношению ко всему, что происходило под покровом ночи... Трещотки постепенно тоже стихали... Успокаивались собаки... Ночные промышленники спокойно выходили «на работу»...

С некоторых пор и это изменилось, когда будочник пошел «новый». Теперь – чтобы просто пройти мимо, не привлекая на себя орлиного, испытующего взгляда, нужна особая выдержка. Успех в борьбе за существование покупается не идущей напролом храбростью, а скорее хорошими манерами и модным пальто; не грубою силой, которою в достаточной ме-

ре обладал Прошка, а ловкостью рук, сноровкой и приличной внешностью. Прошка был примитивный жулик; он грабил, как грабили на Москве в «допрежние времена»; между тем будущее явно принадлежало тому, кто овладеет культурными приемами и сумеет заpastись «протекцией». Одной из таких жертв прогресса становился и Прошка.

Конечно, «прогресс» имеет свои права; но разве не грустно, что он должен сопровождаться таким множеством жертв? Жизнь шаг за шагом, неторопливо, но и неуклонно давала ему чувствовать его непригодность, и, как ни мало был он способен к рефлексам и раздумью, тем не менее, в глубине его души накоплялось неясное, несознанное, тупое чувство меланхолии.

В один прекрасный день к перекрестку, с которым связаны были лучшие воспоминания Прошки, пришли кучкой землекопы. Они скинули с плеч на землю верхнюю одежду и заступы, вынули кисеты с табаком, набили трубки и закурили их, искоса поглядывая на узкую и неудобную дорожку, пролежавшую от перекрестка к Петровскому парку. Покурив, они отмерили в ширину четыре сажени, протянули веревки и принялись копать канавы и ровнять дорогу. Через несколько дней на месте прежней ухабистой и живописно терявшейся меж кустов тропки протянулась широкая мостовая, а еще недели через две она выступала на зеленом фоне белую ровную полоской, утрамбованная щебнем и посыпанная белым песком. Конечно, само по себе это обстоятель-

ство, по-видимому, не имело к судьбе Прошки ближайшего отношения; однако, когда он впервые увидел новую дорогу, его сердце будто ущемило какое-то неприятное чувство. Он долго стоял, задумавшись, у столба, смотрел на дорогу, и ему казалось, что его любимый ландшафт окончательно испорчен. Многие, быть может, находили, что новая дорога красиво выделялась на зелени, точно нарисованная на плане, но в сердце Прошки она пролегла неясным и смутным предчувствием, еще одним лишним напоминанием, что его, Прошку, и его промысел все эти новинки сживают со свету.

Ему стало так тоскливо и неприятно, что на целых два месяца он пропал, и его не видели ни на Выселках, ни на перекрестке. За это время он посетил много мест, приобрел несколько новых знакомств и даже одного друга в лице отставного служивого, которого многочисленные военные заслуги не спасли от той же мало уважаемой и трудной профессии; но где ни пробовал Прошка удачи, работа все не клеилась, и вообще Прошке все не нравилось. Он затосковал по родным местам; в два месяца неприятное воспоминание о новой дороге улеглось, и он стал чванливо расхваливать «свое место». Наконец в одно воскресенье, вечером, когда в заведении Петровского парка должна была появиться какая-то новая шансонетная дива (Проход был в курсе таких событий музыкального мира) – и, значит, на перекрестке тоже предстояло движение, – Прошка появился на излюбленном месте. Он был не один. С ним был его новый друг, ко-

торому он самонадеянно обещал «в своем месте» хорошую работу.

Скоро, однако, он должен был убедиться, что хвастал своими местами напрасно. Движение к парку было действительно сильное, но для «клёву» условия оказались неблагоприятные. Виной была новая дорога. Там, где прежде пролетки с седоками ныряли по ухабам меж кустов, – теперь они пронеслись легко и быстро. Прошке оставалось только провожать их глазами... Кроме того, движение на этот раз оказалось слишком сильно. Обстоятельства складывались плохо...

Товарищ Прошки был человек угрюмый и молчаливый. И нравом и судьбой он был отчасти похож на гоголевского капитана Копейкина², хотя изувечен не в такой степени... Сидя с Прошкой в канаве, он не сказал ни одного укоризненного слова, но во всей его угрюмой, горемычной фигуре Прошка видел безмолвный и тем более горький укор. Наконец служивый крикнул и, вынимая трубку, предложил Прошке:

– Ох-хо-хо-о!.. покурить, что ли?

Когда трубка была набита и вспыхнувшая серная спичка осветила лицо служивого, Прошка окончательно сконфузился. Лицо приятеля было сурово. Он сидел на корточках, потягивая из чубука и глядя задумчиво в сторону. Прошка ясно понял, что мысли служивого теперь далеко: по-видимому, он предавался общим размышлениям о горькой жизни, не обращая внимания на дорогу, как будто его приговор над

² *Капитан Копейкин* – один из персонажей «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

хваленными местами был уже окончательно составлен. Прошке стало очень стыдно, и вся его чванливость совершенно исчезла.

– Плохое житье, – заговорил он печально.

Служивый не ответил, а только затянулся сильнее, и вспыхнувший огонек трубки опять осветил его энергичные черты с густо нависшими бровями и резкими морщинами.

Прошка легко поддавался настроению. Забыв, что еще недавно он рисовал самые радужные перспективы, теперь он стал изображать перед товарищем всю горечь их общего существования. Все идет к худшему. Еще года четыре назад кормиться было много легче. Семья находилась в сытости, родитель сыт и пьян (много ли ему нужно?), сам Прошка пользовался кредитом в нескольких трактирах. Главная причина – народ был «проще». Теперь год от году народ становится хитрее. «Прожженные какие-то, прости господи! – сказал Прошка и плюнул сквозь зубы. – Пьют, что ли, не по-прежнему, или девиц тех нету, чтоб от них человек сам себя забывал. Нет в народе шири и размаха. Случается просиживать в канаве ночи напролет – и все без толку. Приказчик хоть и напьется, так валит гурьбой, купец ездит на лихачах, а если и попадетя паренек попроще, так смотришь – в кармане двугривенный. Да и то еще иной из-за двугривенного орет, точно у него тысячи отняли. Тьфу!..»

Товарищ слушал эти жалобы в мрачном молчании, только затягивался трубкой и сплевывал. Вдруг он протянул к

Прошке руку и поднялся.

По тропинке, пролегавшей через поле, приближались две фигуры. Место было очень удобное, и два смельчака, выбравшие самый глухой путь, по торфяному болоту и буеракам, мимо самых кустов, должны были, по соображениям служивого, находиться в том состоянии, когда человеку море становится по колена. Служивый вдруг потерял свою неподвижность, вытянул шею и, впиваясь волчьими глазами в приближавшуюся добычу, стал тихо прокрадываться к кустарнику, подходившему к самой тропке. Но, к великому его изумлению, Прошка вдруг быстро вскочил на ноги, подбежал к нему и, оттащив его в кусты, посадил на землю... Служивый послушался, хотя и не понимал причины странного поведения товарища.

Шаги приблизились; в ночной темноте прозвучали беззаботные молодые голоса. Двое юношей беспечно разговаривали о театре, об игре Ермоловой и Живокини и громко смеялись, повторяя некоторые места из комедии. Вскоре разговор стал тише, и, наконец, фигуры скрылись на дороге к академии.

– Студенты это, – сказал Прошка. – Арфанов с товарищем. Я их знаю.

– Ну-к што? – спросил угрюмый товарищ, желая получить более обстоятельное объяснение.

– Свяжешься – не рад будешь... Да и что с их возьмешь? – уклончиво ответил Прохор.

Служивый крякнул, и в темноте Прошка угадал саркастический и почти враждебный взгляд товарища.

– Невозможно мне, – прибавил опять Прошка, угрюмо потупляя глаза. – Как я теперича живу по соседству... начальство ихнее... Ну, и опять, здоров драться этот Арфанов... Все они отчаянные...

И Прошка рассказал несколько случаев, хотя и относившихся к более или менее отдаленному прошлому, о том, как один студент побил трех «ребят» на этом самом перекрестке, как другой вырвал нож голою рукой и при этом успел еще «накласть» нападавшему и свалить его еле живого в канаву, где тот пролежал, пока пришли дачные дворники, и т. д. Нужно заметить, что случаи эти относились к героическому прошлому академии, но слава этих подвигов жила еще на Выселках и, передаваясь из уст в уста, покрывала и последующие поколения студентов некоторым ореолом.

Трудно сказать, был ли служивый убежден Прошкиной аргументацией, но так как дело все равно было потеряно, то он, не теряя слов на возражения, вернулся к прежнему месту. Прошка последовал за дам и, настроенный в эту ночь необычайно грустно, возобновил малодушные жалобы...

Между тем ночь бежала своим чередом, и хотя на небе стояли тяжелые и темные тучи, но все же было заметно, что утро близко. Неровные кочки торфяного поля выступали яснее, подернувшись с одной стороны белесоватым отсветом; березки тихо шептались, вздрагивая от предутреннего холо-

да; где-то далеко кричал петух, и раздававшиеся по временам звуки ресторанного оркестра доносились как-то вяло, точно мелодия засыпала на лету. Служивый давно докурил трубку; и так как набить ее было нечем, то он поковырял в ней ржавым гвоздем и стал тянуть отвратительный табачный сок... Трубка при этом как-то хрипло ворчала, точно грудь больного, готового закашляться последним предсмертным кашлем. Все это, в связи с неудавшейся ночью, еще более располагало к меланхолии. Прощка замолк.

– Прямо хоть с пером³ работай, – сказал вдруг служивый решительным тоном.

Прощка беспокойно заерзал на месте.

– А то с кистенем, – продолжал служивый, выколачивая трубку о ближайший пень. – Видно, такие времена подходят...

– Ну, нет, – заговорил Прощка, – не согласен я... Потому главная причина, как я при семействе живу, на миру. Человек я по своему месту известный... невозможно мне. Да и грех.

Служивый не возражал, но и не соглашался. Он был человек молчаливый, но его молчание было значительно и мрачно. Он опять не ответил и прислушался.

По новой дороге, в направлении от парка к перекрестку, слышалась приближавшаяся песня. Какой-то беззаботный гуляка шел неторопливою походкой и громко пел. Весь

³ Перо – на воровском жаргоне означает нож.

напитавшись за вечер мелодиями из опереток, он изливал теперь из себя веселые шансонетки, и звуки раскатывались далеко по росе. Служивый встал, поднял на дороге камень и стал неторопливо обвязывать его платком, которым был опоясан по животу.

– Что это ты? – робко спросил Прошка.

– Ничаго, – ответил служивый.

– Нет, ты этого «в моем месте» не моги, – заговорил Прохор довольно решительно и затем, несколько оробев от презрительного и укоризненного взгляда товарища, которого он сам же заманил в свое место, прибавил оживленным и радостным тоном:

– Да ты погоди. Я этого самого песельника сейчас тебе предоставляю... Потому это чиновник.

– Ты почем знаешь? – спросил служивый.

– Да уж будь спокоен. Здешняя публика мне, братец, достаточно известна. Здесь ведь пешком-то больше приказчик идет да чиновник, купец не пойдет: у него лихач. Приказчик заорет, сейчас все собаки в Бутырках взвоют. А этот, вишь, как складно выводит, и голос тонкой. Видно, человек деликатный, а выпивши крепко...

Прошка повеселел.

– Ты вот что, служивый, – заговорил он опять. – Ты послушайся меня... Ты это брось. Лучше сядь ты у дороги и сиди. А уж я сам... Сейчас его ежели облапить, все отдаст... Белендрасы эти на нем нацеплены, цепочки, за девками так

гоголем и плавает. А драться не мастера... У иного и «припас»⁴ какой бывает, так он даже и не вспомнит. Деликатный народ.

Товарищ не возражал. Он только посмотрел на Прошку таким взглядом, который показал ясно, что теперь предстоит или восстановить пошатнувшуюся репутацию, или потерять всякое доверие. Между тем певец приблизился к роковому месту.

Прошка обыкновенного медвежеватой походкой вышел на дорогу.

– Дозвольте, господин, огоньку-с... цыгарку закурить! – сказал он, налезая вплотную на беззаботного певца.

Но тот не оправдал Прошкиных ожиданий. Слегка отшатнувшись в сторону, так что нельзя было заметить, произошло ли это вследствие винных паров, или было рассчитанным маневром, – веселый господин вдруг остановился и сказал резко прозвучавшим в темноте голосом:

– Закуривай!

Мелькнул огонь, что-то грянуло на всю окрестность, отдавшись далеко эхом. Прошка упал.

Беззаботный господин отвернулся и, как ни в чем не бывало, пошел далее, опять покачиваясь на ходу и продолжая песенку с того места, на котором был остановлен. Эта удивительная беспечность произвела даже на служивого столь сильное впечатление, что он в течение некоторого време-

⁴ Припас – оружие, «припасенное» на всякий случай.

ни провожал веселого господина остолбенелым взглядом, не выходя из кустов.

Затем, вспомнив о Прохоре, вышел на дорогу.

– Прощка! – окликнул он довольно робко лежащую у края дороги фигуру.

Прощка шевельнулся.

– Прохор, слышь! Прохор, голубчик! Жив ли? – спросил служивый с участием.

Прощка зашевелился сильнее и присел.

– Кажись, ничего, – заговорил он, тяжело вздыхая и разминаясь. – Верно... вреда, кажись, нету. А то было вовсе убил.

Товарищ искренно обрадовался.

– Слава-те, господи, владычица небесная... А ведь я думал – крышка! Ну, ин вставай. Надо, видно, убираться, пока целы... Ишь, собаки на даче заливаются...

– Ничего, – уверенно ответил Прощка. – Кому надобность... Далеко. А как он меня полыхнул-то... Ну-у, ну-у! И народ нонче пошел. Креста на нем нет... Убил человека и пошел себе... Слышишь ты?

Оба прислушались. Издали все еще доносились обрывки песни.

– Поет-заливается... Ушел и не оглянулся... Может, я здесь поколел, как собака.

Он всхлипнул.

– Каскеты медные теперь на персты надевают... Свинчат-

ками лупят, – говорил он жалобным, почти плачущим голосом... – Долбанет этак невзначай, искры из глаз... Обеспамтеешь...

– Ну-ну... – угрюмо сказал товарищ, очевидно, не одобрявший Прошкиного малодушия.

– Ну, пушай... – продолжал Прохор простодушно. – Надо, скажем, и ему какое-нибудь средство... оборону какую-нибудь... А этот смотри ты: палит, не говоря худого слова...

Он опять всхлипнул. Волнение было слишком сильно, и он хотел жаловаться и плакать.

– Народ пошел какой... Неаккуратный...

– Ну-ну!.. – сказал опять товарищ.

Прошка склонил голову на руки. Жизнь казалась ему невозможной. В душе было темно и тоскливо, как еще не бывало никогда. Кроме тоски, он чувствовал еще обиду: ему казалось, что в игре, которую он вел с ближними, последние прибегают к неправильным и непозволительным ходам. Сам он работал только «всухую» и не мог без страха подумать об убийстве. Как и в кулачных боях, он полагался на кулак и на крепкую медвежью хватку. Он желал бы, чтобы ближние боролись «благородно».

Все еще по временам всхлипывая, он поднялся с земли и пересел под навес. Выстрел, действительно, не вызвал на дачах никакого движения, и собачий лай, поднявшийся сначала более не возобновлялся. Товарищ Прошки присел с ним рядом. Он был озадачен слабостью Прошки. Не обладая

большим запасом утешительных слов, он ничего не сказал, но, кажется его молчание на этот раз имело сочувственный характер.

Становилось светлее; роса налегла матово-белую пеленой на зелень. Оркестр смолк. Первые лучи солнца освещали две угрюмые фигуры, неподвижно сидевшие на перекрестке.

III

Отношение выселковских обывателей к Прошкиной профессии отличалось чрезвычайной терпимостью. С тех пор, как уклад прежнего крестьянского мира был порушен и его члены пошли вразброд, все они находили естественным, что человек так или иначе кормится по силе возможности. Обломок прежнего крестьянского общества – Выселки требовали только, чтоб их члены не забывали вконец своих связей с «миром», не делали вреда своим однообщественникам. Кажется, что именно таким образом следует объяснить тот сочувственный нейтралитет, какого придерживались выселковцы в отношении к Прошкину способу кормления. В свою очередь, и отношения Прошки к согражданам были исполнены взаимной благосклонности. По крайней мере так было прежде. Выселки знали Прохора, и Прохор знал Выселки. В случае удачи Прошки, на Выселках многие бывали веселы и пьяны, и никому не приходило в голову задаваться нескромным вопросом: откуда взяты деньги, которыми оплачивалось это веселье? Впрочем, все хорошо знали это без всяких справок. Зато в самые темные осенние ночи Прохор различал своих компатриотов рысьими глазами, и никогда он не позволял себе испугать выселковскую женщину, не обидел ни одного пьяного выселковца. К сожалению, в наступившие для Прошки тяжелые времена этому трогательному согла-

сию предстояло жестокое испытание.

Не случилось еще ничего особенного, но уже многие наблюдательные люди заметили, что Прошка начал «задумываться». Это был очень тревожный симптом. Известно, что, если человек начал думать, от такого человека добра не жди. Поэтому и от мыслей Прошки все ждали худа, и между Выселками и Прошкой пробежала черная кошка. О чем, собственно, он думает, никто этого, конечно, не знал; тем не менее, когда домохозяин-сапожник, у которого подозревались некоторые деньжонки, проходил мимо Прошки в минуты раздумья, – он чувствовал себя как-то неловко под внимательным и тяжелым взглядом жулика. До сих пор Прошка никогда не задумывался, а только пьянствовал и дрался на кулачках. В настоящее же время он «думает» и смотрит нехорошо.

Хотя Прошка не был особенно расположен к анализу своих ощущений, тем не менее, он тоже заметил за собою мысли и смутился. Остатки доброй выселковской совести подымались в нем против новых искушений. От мыслей в нем поднялась такая кутерьма, что бедный Прошка был близок к настоящей меланхолии.

С течением времени эти неопределенные взаимные отношения Прошки и Выселков стали невыносимы. Прежде выселковский гражданин, шел в ночное время мимо столба, без всякой опаски, – ныне он шел и озирался. Он шел, так как не было еще примера, доказывающего, что хождение это опас-

но; но озирался, так как не был уверен, что подобный пример не воспоследует именно на нем.

Некогда Прошка добродушно в любое время окликал из канавки: «Здорово, Фадеич! Хорошо ли гостил?» На что обыватель отвечал столь же радушно и останавливался покурить с земляком. А ныне Прошка сердито ворчал:

– Откедова вас, чертей, экую пору носит! Проходи, проходи, не проедайся! – Голос Прошки при этом звучал такими враждебными нотами, что земляк долго оглядывался назад с тяжелым чувством.

– Задумал чего-то, дьявол... Беспременно задумал, – решили Выселки.

Всем было ясно, что так дальше продолжаться не может, и действительно наступил кризис.

Была темная осенняя ночь, когда дворник Алексеич возвращался с поминок. Дворник Алексеич оберегал архиерейские дачи и в силу этого факта считался особой духовного звания, даже с монашеским оттенком. Это внушало всем чувство некоторого уважения. Поэтому Алексеич менее, чем кто-либо другой, помышлял об опасном хождении мимо столба. В эту ночь, как уже сказано, он возвращался с поминок, мысли его были настроены на торжественный лад, а в руках он нес полуштоф. Он шел своим обычным размеренным шагом, в длинном полумонашеском хитоне и круглой шляпе, шел и на ходу, помахивая полуштофом, размышлял о суете сует в таком роде, что вот умерший кум получал хо-

рошее жалованье, а нонче что ему в деньгах? Одним словом, мысли Алексеича были торжественны и поучительны. О том, что он подходит к опасному месту, он не думал вовсе.

– Стой! Кто идет? – раздался вдруг незнакомый голос.

Алексеич вздрогнул и остановился.

– С нами крестная сила, рассыпья! – вскрикнул он тоном заклинания.

– Небось, не рассыплюсь, – ответил неизвестный. – Тебе нешто экую пору полагается шататься с водкой?.. Откупайся!

Алексеич быстро окинул взглядом поле действия, и от его взора не ускользнула другая темная фигура, стыдливо скрывавшаяся за кустом. Он сразу сообразил положение дела, стал в позу, отодвинул назад одну ногу и поднял правую руку с полуштофом.

– Прохор, – заговорил он глухим голосом, – а Прохор, бога не боишься! Своих уже стал останавливать! Думаешь, не вижу? Вижу тебя, окаянного: вот ты где, за кустом. А ты, между прочим, не подходи! – обратился он к остановившему его субъекту. – Верь истинному богу, всю морду посудыной изувечу. Не пожалею полуштофа.

Реплика произвела впечатление. Незнакомец замаялся, хотя, по-видимому, не вполне отказался от своих намерений. Но патетическое воззвание архиерейского дворника проникло в глубину Прошкиной совести. Он вышел на дорогу, подвигаясь как-то нехотя, боком.

– Эй, служба, не трожь, слышь! Это, вишь, Алексеич... Знакомый... Кто ж тебя экую темень узнает?

– Не узнал? – произнес Алексеич язвительно. – Вишь ты, ослеп ноне что-то. Эх, Прохор, Прохор! Вот ты нонче на какие поступки пускаешься? Своего человека... Ах-ха!

– Ну, будет, – произнес Прошка, переминаясь, – что уж! Поднес бы, Алексеич, по рюмочке, право. Вишь, холодно к ночи-то стало.

Алексеич смягчился.

– Вишь, рюмки нету, – сказал он уступчиво. – Ну, да уж ладно, лакай из бутылки... Ах, Прохор, а-ах, Прохор!

Алексеич укоризненно качал головой.

Прошка приложился и передал посуду товарищу. Тот взял ее с мрачным и недовольным видом.

– Не видал, что ли, водки твоей? – сказал он угрюмо, тем не менее, не отказался и мигом будто прирос губами к горлу полуштофа. Слышно было, как булькает влага и мрачный мужчина тянет ее со спертым дыханием... Отдавая посуду, он пошатнулся.

– А-ах, Прохор! – сказал Алексеич еще раз, принимая посуду. Она стала заметно легче... Это обстоятельство придало голосу Алексеича особенно выразительный оттенок.

Прошка понурил голову и удалился. Алексеич тоже направился дальше, но, удаляясь, слышал, как мрачный мужчина сказал укоризненно:

– Сидел бы уж. Ишь тебя вынесло... Рохля!

На следующий день с раннего утра Алексеич уже был на Выселках и именно в трактирном заведении. Важная новость, которую он имел сообщить выселковцам относительно Прошкина поведения, не давала ему покоя. Так этого дела оставить невозможно, – это знали, конечно, обе стороны, и Прошка тоже чувствовал грозу, нависшую над ним в родных Выселках.

В заведении, несмотря на ранний час, два стола были заняты посетителями, оживленно беседовавшими о событии прошлой ночи. Духовный дворник был героем собрания. Он уже несколько раз успел рассказать происшествие, сообщив, в назидание слушателям, полный текст нравоучительной речи, которою он якобы тронул сердца злодеев. С каждым новым вариантом назидательная речь приобретала новые риторические красоты.

Вдруг дверь заведения отварилась, и на пороге появилась фигура самого злодея. Не ожидая, очевидно, встретить здесь Алексеича в такой ранний час, Прошка на мгновение остановился в дверях («Так его и шатнуло», – рассказывали впоследствии очевидцы). Тем не менее возвращаться было поздно, и Прошка подошел к стойке. Вся его фигура действительно обнаруживала нечистую совесть: походка стала еще более неуклюжа и нелепа, глаза косили, стараясь не глядеть в ту сторону, где сидел Алексеич; к стойке он пододвинулся как-то боком.

– Налей косушечку, – сказал он застенчиво и грузно опу-

стился на лавку.

– Сейчас, – ответил целовальник, не торопясь исполнить требование, и кинул многозначительный взгляд на Алексеича. Прошка сразу заметил все: как смолкли собеседники, повернувшись в его сторону, как сдержанно и с ожиданием смотрел на Алексеича целовальник, как сам Алексеич принял суровую позу, приличную обстоятельствам, и безмолвное внимание сограждан. Все это произвело на Прошку угнетающее влияние. Он потупился еще больше и как-то растерянно повторил:

– Косушечку мне, подай-ка... – Тон был неуверенно-робкий и фальшивый.

– Слышали-с, – ответил целовальник дипломатично, но не двинулся за прилавком. Прошку что-то кольнуло в сердце; он чувствовал, что в родном выселковском заведении он стал будто чужой.

При общем молчании все взоры обратились на Алексеича. Духовный дворник сознавал важность момента. Он молча поднял стоявший на столе графин, налил, не торопясь, стакан и подозвал Прошку:

– Поди сюда, Прохор...

Прошка, точно осужденный, подошел к столу.

– Пей, – сказал Алексеич таким голосом, точно в рюмке он подносил яд.

Прошка выпил залпом, скосил глаза, покраснел и, как будто не зная, что сказать и как вести себя в столь неожидан-

ных обстоятельствах, вдруг бесстыдно обратился к духовному дворнику:

– Наливай еще.

Это была храбрость отчаяния, но общественное мнение истолковало ее, как доказательство закоренелого бесстыдства. Обыватели покачали головами. Кое-кто вздохнул.

– А-а? – протянул Алексеич. – Желаете еще, Прохор Иваныч? Что ж, мы и еще поднесем... – И, наливая другую рюмку, Алексеич прибавил: – За ваши добродетели...

Стакан был налит. Рука Прошки, подносявшего его ко рту, сильно дрожала, но он все-таки выпил. После этого он совсем не знал, что ему делать.

Алексеич несколько секунд молча смотрел на его нелепую, сконфуженную фигуру и затем сказал:

– Скажи-ка ты нам теперича, Прохор Иваныч, как нам об тебе понимать?

– Насчет чего? – спросил Прошка, скашивая глаза.

– Не зна-а-ешь?! – иронически переспросил Алексеич. – Вишь ты, дитё несмысленное... Не ломайся, Прохор, говори!.. Птица теперича, пернатая тварь... об своем гнезде имеет понятие... А ведь ты есть человек!

Прошка отвернулся.

– Да ведь не тронули, – сказал он глухо, – чего ж тебе?

– Не тронули? – с горечью проговорил Алексеич. – Спасибо, Прохор Иваныч, что живого отпустили. И на том благодарить прикажете? Так, что ли? Нет, а ты зачем же это при-

таился?..

Прошка молчал. Он сознавал, что Алексеич успел рассказать все, и совесть у него была перед односельцами нечистая. Обыватели на разные лады высказывали свое неодобрение. Алексеич при этом случае с особенным воодушевлением рассказал еще раз все происшествие и закончил, пронызывая Прошку укоризненным взглядом:

– Нет, ты скажи: зачем ты притаился-то? Значит, пушай чужой человек меня обчистит, а ты в стороне!.. Вот какое ноне у вас поведение, Прохор Иваныч! Думаешь, не понимаем мы?.. Ах-ах-ах...

– Па-анимаем, – произнес сапожник, который сидел за столом и пожирал Прошку горящими глазами. Алексеич налил третью рюмку и молча, но необыкновенно укоризненно подал ее Прохору. Он был тонкий политик. Пытая Прошку, он в то же время подносил ему. В этом символически Выселки как бы предлагали Прошке на выбор: гнев или милость. Прошка, весь красный, выпил водку и опустил на лавку, подавленный отношением выселковского «мира».

– А-ах ты, господи! – заговорил он глухо. – Господа поштенные!.. Иван Алексеич!.. Да неужто же я, например, супротив односельцев вроде варвара окажусь?

И прибавил тронутым и размякшим голосом:

– Тяжело, братцы... Верьте богу: трудно мне, страсть!.. Ну, однако, супротив односельцев... ник-когда! Будьте, поштенные, без сумления...

И он взглянул на всех просветлевшим взглядом.

Все почувствовали, что Прохор раскаялся совершенно искренно и превращается опять в своего человека, в прежнего выселковского Прошку. Выселки отпраздновали возвращение своего блудного сына, и даже сапожник улыбался и качал головой с самым благосклонным видом... Алексеич ночевал в заведении, и архиерейская дача на шоссе оставалась в эту ночь без его охраны.

IV

На следующее утро Прошка проснулся рано. Голова у него трещала с похмелья, но на душе не было скверно. Он вспомнил вчерашнее, вспомнил трогательное примирение с согражданами, и ему во всем этом почудилось что-то теплое, умиляющее, точно начало какой-то новой жизни. Вчера он, вместе с Алексеичем, был героем дня. Он был для Выселок чем-то вроде блудного сына, возвращение которого празднуют закланием тельца. Еще неделю назад он был просто жулик Прошка, которым вне кулачных боев интересовались мало. Потом он сделался для Выселок угрозой. И когда угроза миновала, – последовал короткий период трогательного общения. Прохор надеялся продолжить его и вкусить еще от сладкого покаяния. С такими чувствами и ожиданиями он переступил порог заведения.

Ему нужно было опохмелиться, – это было несомненно и разумелось само собой. Но не это было главное. Он знал, что Алексеич ночевал в заведении, что теперь он тоже проснулся, что у него явится та же потребность в поправке, и Прошка намеревался отплатить за вчерашнее взаимностью. Это подымет его в собственных глазах и в общественном мнении. Денег у него не было ни копейки, но кредит был восстановлен. Для начала он закажет полбутылки с какой-нибудь закусочкой... Он уже видел в воображении, как они с архи-

ерейским дворником будут «поправляться» за столиком, покрытым скатеркой. А через некоторое время станут подходить другие похмельные обыватели. И вчерашнее общение продолжится... неопределенно.

Но эти приятные ожидания были обмануты. Когда за Прохором завизжала и хлопнула дверь с блоком, – в трактире было еще не прибрано и пусто. Два заспанных парня убирали грязные столы и спрыскивали пол. В хозяйской комнате чиркала канарейка. Сама хозяйка возилась за прилавком вместо мужа, а духовный дворник уже сидел у окна за столиком и опохмелялся.

Похмелье у него было трудное и тяжелое. Лицо за ночь еще более пожелтело, волосы прилипли по сторонам щек, и он жевал губами с выражением страдания и отвращения. Увидя Прохора, – он стал как будто еще более мрачен, но все же поманил вошедшего пальцем и молча налил рюмку. По его угрюмо-страдающему виду Прохор понял, что вчерашнее миновало бесповоротно. Духовный дворник становился опять особой, не под пару Прошке, и у Прохора не хватило духу предложить ему свое угощение.

Он подошел на зов и выпил рюмку, чувствуя, что это только подачка. Алексеич, не тратя слов, налил другую. В это время блок взвизгнул, и в заведение вбежал еще один страдающий обыватель. Не обращая ни на кого внимания, он подбежал к стойке и кинул монету. Хозяйка налила ему с презрительным видом. Она презирала пьяниц, хотя ей и прихо-

дилось порой заменять мужа. Прошка чувствовал, что его планы насчет кредита в эту минуту более чем сомнительны... Страдающий посетитель «поправился», кивнул Алексеичу головой и, не обратив внимания на Прошку, быстро выбежал из трактира... А вчера он обнимался с Прохором и то и дело лез целоваться.

Было ясно, что короткий праздник кончился. Наступали будни. Прохор становился в выселковской жизни на прежнее место... Алексеич постучал и стал рассчитывать. Прохор стоял у столика в нерешительности.

– Умыться пойтить, – сказал он, чтобы сказать что-нибудь.

Дворник не выразил ни малейшего участия к дальнейшим намерениям Прохора. Он только зачавкал ртом с видом человека, у которого печень не в порядке и которому весь мир внушает отвращение, в том числе и его ближайший собеседник. Прошка вышел своей медвежьей походкой и направился к плотине и пруду...

Площадь была пустынна. На нее выехал «фиакр» и поставил лошадь против трактира; лошадь раскорячила ноги, выгнула костистую спину и застыла, как будто мгновенно заснула, а ее хозяин поплелся в трактир мелкими шажками и трясая на ходу огромной бородой. Блок взвизгнул, и все опять стало тихо.

В воздухе ясно почувствовалась утренняя свежесть. На березках и кустах сверкали капли невысохшей росы. Было тихо, только блок трактира то и дело приятно взвизгивал,

после чего стучала дверь. Это движение шло мимо Прошки, и это приводило его в чрезвычайно мрачное настроение.

Он лениво оглянулся по направлению к своей полуразвалившейся избушке. Из черной покосившейся трубы вился легкий дымок. Дунька вчера «гуляла», вернулась поздно и теперь, очевидно, собиралась стряпать. Это в некоторой степени снимало с Прошки заботу о малолетках и престарелом родителе. «Сыты на сегодня» – дальше этого его заботы не простирались. Он не заработал ничего, но сестра, очевидно, заработала. Этого достаточно. Почесавшись как-то по-своему, руками, плечами и спиной, Прошка вяло двинулся по направлению к воде.

Шел он тихо, с развальной; по временам почти приостанавливался, почесывался и опять шел. Казалось, ему все равно – идти ли к воде или назад, или совсем не идти. В самом начале он чуть было не наткнулся на несчастную клячу «фикара» и, проходя мимо, поднял локоть, чтоб ударить ее по морде; но так как ему лень было податься в ее сторону, то удар чуть-чуть только задел клячу, а она, в свою очередь, не сочла нужным выразить чем-либо свое негодование. Кляча осталась в своей задумчивой позе, а Прошка пошел дальше тою же нелепою походкой.

У конца плотины над прудом стояла красная сторожка. От нее в глубину парка уходил невысокий вал, поросший травой, с узкою дорожкой, которая убегала, теряясь в зелени, отделенная от вала канавкой. Листья берез чуть-чуть шеп-

тались под ветром, который, пробегая над прудом, подымал кое-где небольшую зыбь; легкая струйка, сверкая на солнце, билась в берег, покачивая две лодки. Упавшие сквозь листву яркие лучи смыкались и размыкались светлыми кружками на дорожке. Это был ясный мирный уголок; кусты и деревья отделяли его от площади, от ее кабаков, пыли и лавок. На другой стороне пруда виднелась красивая балюстрада лодочной пристани и густой академический парк. И белая балюстрада, и густая, темная зелень отражались в синей воде пруда. Все было прозрачно, густо, отчетливо, необыкновенно свежо и чисто.

Появление угрюмой и грязной фигуры Прошки составило резкий диссонанс в тиши этого уголка. Вероятно, он сам не мог не сознавать этого, потому что в первую же минуту его лицо еще более потемнело и на припухлых щеках, в заплавленных глазах появилось выражение цинизма. Это выражение он умел усиливать по произволу; у всякого свое положение в свете, а Прошка имел свое: он был жулик, драчун, человек «отчаянный». Если б он лишился этих качеств, не приобретая взамен других, он стал бы на Выселках нулем. Теперь же он был чем-нибудь и, так или иначе, все же выделялся, заставлял с собою считаться. Раз он «отчаянный», так пусть же знают, что он в этом отношении может зайти далеко, – дальше, чем от него ожидают. Находясь среди людей, он чувствовал на себе их взгляды, исполненные пренебрежения, и ему было, приятно, когда это пренебрежение пере-

ходило в удивление, а иногда и в страх. Поэтому он любил порой усилить свое безобразие, любил, покачнувшись будто нечаянно, задеть какого-нибудь уважаемого обывателя, любил так дрогнуть плечом, чтобы близстоящие, кто бы они ни были, хотя б совершенно посторонние, невольно шархнулись, опасаясь со стороны отчаянного человека внезапного нападения. Он сознавал, что ему сходит многое, что не сошло бы другому. Каждый при взгляде на его фигуру сразу замечал резкие признаки «отчаянного человека», с которым лучше не связываться.

Теперь, хмурый и заспанный, он особенно сильно чувствовал на себе такие взгляды... Но кругом никого не было. Были только березки, блики на пруде, свежая зелень и легкий утренний ветер. Это в нем самом было смутное сознание того диссонанса, какой он вносил сюда, в этот ясный уголок воды, зелени и солнечных лучей. Поэтому он еще более обмяк и опустился. Взойдя на кладку над водой, он ступал так тяжело, что доски трещали и гнулись. Усевшись и спустив ноги к воде, он зачем-то выругался и толкнул ногой лодку. Лодка тихо откачнулась, ударилась о другую и опять подплыла к ноге, чистенькая и с чистеньким отражением. Прошка толкнул опять, но уже тише. Повторив это три – четыре раза, он опустил голову и на минуту смирился. Когда он поднялся, его лицо приняло более спокойное выражение. Он умылся, поглядел еще раз крутом, взошел на насыпь и, выбрав место, где солнце уже высушило капли росы, лег в траву.

Фигура человека, таким мрачным пятном ворвавшаяся сюда, теперь стусевалась, будто слившись с этой природой. И душа человека тоже начала с нею сливаться. Прошка полежал несколько минут, закрыв лицо согнутыми в локтях руками. Потом он открыл глаза и, подняв голову, посмотрел на пруд, на лодки, которые опять мерно покачивались на синих струях, разводя вокруг себя серебристые круги; на листья, которые дрожали над ним в тонкой синеве воздуха, прислушался к чему-то, и вдруг легкая улыбка подернула его щеки.

Усмешка эта была какая-то косая, неопределенная. Лицо Прошки трудно ей поддавалось; оно подернулось ею, как дергается поплавок на поверхности реки, когда в глубине трогают наживку... сначала слабо, потом несколько явственнее. Наконец улыбка широко разлилась по мясистым скулам, раздвинула рот, заискрилась в чуть видных глазах. Это была лукавая улыбка: Прошке было смешно оттого, что он один, что кругом так благосклонно шепчут ему листья, что ему хорошо, что ему не нужно показывать отчаянность и, главное, что его никто не видит, что он украл для себя у людей эту особенную минуту. Он был похож на кота, которого гладят по спине. Но его никто не гладил по спине или, вернее, его гладила общая мать – природа. Она коснулась его души своим нежащим и любящим прикосновением, и он почувствовал, как его душа разглаживалась, «выпрямлялась», добрела. Что-то из нее улетучивалось, что-то утопало, стиралось в сознании, и взамен из глубины поднималось нечто другое,

неведомое, неопределенное, смутное... Все это совершалось так ощутительно, что порой у Прошки являлся даже вопрос: что это такое? Что это нарастает в нем, пробивается к сознанию, напоминает о чем-то, «подмывает» на что-то? О чем напоминает, на что подмывает?.. Порой Прошка ощущал в себе неясное желание. И когда по привычке он задавал себе вопрос: уж не выпить ли ему хочется, – то поднимавшаяся в душе безвкусица не оставляла ни малейшего сомнения, что дело не в выпивке. Так в чем же?

Он затихал и отдавался настроению, надеясь схватить неясное ощущение, как мы стараемся по временам схватить приятный полузабытый сон. Но ему никогда не удавалось этого достигнуть: не привыкшее к напряжению внимание скоро ослабевало, туманилось, – и, продолжая улыбаться, Прошка мирно засыпал. Быть может, во сне он видел, наконец, то, что желал увидеть, но никогда не помнил, что ему снилось.

Одно было жалко: излюбленный уголок находился очень близко от плотины, и порой, для сокращения дороги, студенты из выселковских номеров и дач проходили прямо через насыпь, мимо Прошки. Раньше Прошку это не беспокоило, но в последние годы характер студенчества стал какой-то беспокойный. Прежде студенты проходили мимо Прошки, и если обменивались с Прошкой остротами, даже порой ругательствами, то делалось это как-то «по простоте», не обидно. Теперешние студенты не ругались; они только оглядывались

на Прошку как-то особенно. Однажды проходивший мимо юноша указал на него другому и сказал:

– Вот ваш «народ». Смотрите.

Тот, к кому это восклицание обращалось, повернулся к Прошке, посмотрел на него сначала сквозь синие очки, потом поверх очков и спокойно ответил:

– Ну, какой же это «народ»... подмосковный. И притом... (он еще раз внимательно посмотрел на Прошку), кажется, это Прошка, которого зовут жуликом.

Затем, продолжая горячо спорить на непонятном для Прошки господском языке, юноши пошли своею дорогой. Прошка сердито заворчал. Он видел, что, в сущности, его как будто не желали обидеть. Но уже недоумение, возбужденное непонятым разговором, было ему неприятно.

– И что только говорят... ничего не поймешь. Народ... ежели я тут один лежу...

Конечно, он мог переменить место, но, во-первых, очень уж он привык к этому уголку, а во-вторых, инертность была существенной чертой его характера. Он злился, но места не менял. «Наплевать! – думал Прошка про себя, кидая на юношей вызывающие взгляды. – Лежу вот, больше ничего. Имею полное право».

В описываемое утро, по случаю раннего праздника, движения было меньше. Многие студенты отправились в Москву еще накануне, другие еще спали дома, поэтому Прошка надеялся, что его уединение не будет нарушено.

Однако он ошибся.

Прежде всего, на валу, в узкой просеке показалась фигура студента Чубарова. Он прошел мимо Прошки, не заметив его, и, подойдя к пруду, снял шляпу и стал умываться.

«Пьянствовал, видно, толстая морда!» – неприязненно подумал Прошка, глядя на красное, веселое лицо Чубарова. Догадка, в сущности, была справедлива: Чубаров всю ночь кутил у «старого студента» Воронина, жившего на одинокой дачке в лесу, и теперь вышел, чтобы достать припасов для продолжения пирушки. Кстати, задумал немного освежиться.

«Здоров пить, – подумал опять Прохор, рассматривая прищуренными глазами оживившуюся от свежей воды физиономию Чубарова. – Небось, всех товарищей споил, а самому хоть опять начинать».

Студент фыркнул, потянул в себя воздух, обтер лицо носовым платком и пошел по направлению к плотине, слегка покачиваясь.

«Небось, разбирает на воздухе-то», – комментировал опять Прошка, с невольным интересом следя за проявлениями хорошо ему знакомого недуга.

На другом конце плотины, ближе к академии, находилась лавка, где торговали коньяком и винами. Она еще была заперта, но это не послужило препятствием. Через четверть часа Чубаров вновь появился на плотине и, к великой досаде Прохора, опять должен был пройти мимо. Теперь он нес под-

мышкой кулек, из которого виднелись горлышки бутылок.

«Ишь его... носит взад-вперед», – неприязненно подумал Прохор. Чубаров быстро прошел мимо и стал удаляться по валу; Прошка опять поднял глаза кверху и замечтался... Мечтательность, смутная и беспредметная, скоро переходила у него в дремоту. Он обладал счастливым свойством здоровых натур засыпать по произволу во всякое время; поэтому немудрено, что через минуту его веки отяжелели, глаза сомкнулись. Дремота налегала на него все гуще, и неясный сон мелькал в воображении, покрывая понемногу сознание действительности.

Прошке казалось, что воздух затуманился, небо заволакивается тучами, листья шепчутся тревожно, точно перед наступлением грозы. Еще через несколько минут ему послышалось даже глухое рокотание грома, и он стал испытывать беспокойство и желание проснуться, чтоб укрыться от близкого дождя. Но дремота все крепче и крепче охватывала его, сковывая все члены.

По странному совпадению, действительность, хотя и в метафорическом смысле, соответствовала этому сновидению. День был ясен, и солнце светило по-прежнему ярко, но на синем клочке неба, который виднелся между деревьев в конце узкой просеки, на горизонте показалось черное пятнышко, которое выросло по мере приближения. Пятнышко оказалось группой людей, и Чубаров, узнавший своих товарищей из «кружка», к которому принадлежал только отчасти,

свистнул, покачал головой и прибавил шагу. Он недавно порядочно повздорил с кружком; кроме того, он был пьян и весел. «Кружок», наоборот, возвращался после неудавшейся в Москве сходки; студенты ночевали кое-как, в тесноте, не выспались, прошли более десяти верст пешком, а потому шли усталые, в самом мрачном настроении. Таким образом, если не на небе, то на узкой насыпи в лесной просеке, навстречу друг другу стремились два противоположные электричества, и столкновение было неизбежно. Прошка спал, не предчувствуя, что этому столкновению суждено разразиться над его беззаботной особой и что оно повлечет за собой для него лично многочисленные последствия.

Черное пятно все увеличивалось, фигура Чубарова все уমাлялась, расстояние между ними уменьшалось. Наконец, они сошлись. Чубаров потерялся в группе, но зато вся группа остановилась. В ней поднялось какое-то движение, послышался отдаленный рокот голосов. Через минуту группа двинулась опять, но движение это происходило как-то неровно, с остановками. По временам Чубаров, который вместе с одним из новоприбывших составлял центр двигавшейся живой тучки, клал на землю свой кулек и начинал жестикулировать с размахистостью горячего и, притом, выпившего человека. Очень вероятно, что приснившийся Прохору рокот надвигавшейся грозы отчасти объяснялся гулом смешанных голосов, и в особенности могучей, несколько осипшей октавой Чубарова. Она то и дело выносилась из кучки студен-

тов, которая, между тем надвинулась почти вплоть к тому месту, где лежал Прохор. Спор был горячий. Главный оппонент Чубарова, Семенов, пытался прекратить неожиданно завязавшийся диспут, но неудачно. Это был молодой человек, с русою небольшою бородкой, одетый в длинный черный пиджак, застегнутый на все пуговицы, и в простом суконном картузе. Вся эта темная, некрупная фигура не имела в себе ничего выдающегося и представляла резкую противоположность с размашистою и широкою фигурой Чубарова. Между тем как в Чубарове резко выступали характерные черты студента, – Семенова на первый взгляд можно было принять за мещанина или рабочего. Он не горячился в споре и не нападал. Только румянец, проступивший на его матово-смуговых щеках, обнаруживал некоторое волнение. Его серые, задумчивые глаза глядели на Чубарова; из-под козырька с одержанным выражением неодобрения, с каким убежденный сектант смотрит на грешного мирянина. Казалось, этот взгляд еще более раздражал и без того разгоряченного Чубарова.

– Нет, вы па-азвольте, – заговорил он, опять останавливаясь и ставя кулек на землю, так что дальнейший путь оказался прегражденным. – Па-азвольте! Это вы, кажется, изволите игнорировать мои мнения, потому что считаете меня пьяным. Не одобряете... понимаем... Стоите на высоте-с. Отлично. А все-таки мой логический аппарат действует, и я утверждаю: ваше основное положение ведет к отрицанию

культуры...

– К черту вашу культуру! – решительно произнес студент с большими черными глазами, горевшими на бледном лице каким-то темным пламенем. При этом он стукнул об землю большою палкой. Но в среде кружка это решительное заявление вызвало некоторое замешательство. Спор отклонился. В кружке беспорядочно зашумели.

– Какие ты, Гурьянов, можешь выставить аргументы в пользу этого мнения? – спросил студент, которого звали Еретиковым. В сущности, фамилия этого молодого человека была не Еретиков, а Ярославцев; товарищи прозвали его Теоретиком, а Выселки перекрестили в Еретикова, и последняя кличка осталась за ним, быть может, потому, что она очень шла к нему: широкое, жирное лицо, обрамленное длинными, но жидкими волосами, которые спадали из-под круглой шляпы косицами, напоминало духовное происхождение Ярославцева. Казалось, ряса и стихарь наиболее шли бы к этой физиономии; между тем, кургузый светло-серый пиджак стягивал широкие круглые плечи и, очевидно, был сшит не по нем; широчайшие брюки были длинны и обтерханы внизу, а весь костюм, в общем, казалось, принадлежал кому-то другому и только случайно попал на этого расстригу. Лицо Еретикова производило впечатление необыкновенной мягкости и жизнерадостности: голубые глаза глядели с добродушным лукавством, и порой, когда ему удавалось построить удачный силлогизм, они загорались веселым, довольным

огоньком. В кружке он был известен необычайною легкостью, с какою умел делать выводы из всевозможных предположений. Стоило только заинтересовать его каким-либо предположением, намеком или вопросом, как голубые глаза Еретикова начинали играть и светиться, а губы шевелились лукавою усмешкой человека, в сознании которого уже вставало совсем оформленным то, что вы считали новым и оригинальным. Обладая громадною памятью, он вооружался и философией, и историей, и социологией, сыпал цитатами и, в конце концов, сам начинал верить своей быстро возникшей теории. Но стоило любому скептику умело тронуть хоть один уголок законченного здания, как мысль Ярославцева уже неудержимо стремилась по пути разрушения. Он тотчас же вспоминал все, что можно было возразить против новой теории, и лукавая улыбка уже опять оживляла его широкое лицо. В кружке знали это свойство ума Еретикова, и Семенов относился к нему неодобрительно.

Гурьянов представлял во многих отношениях контраст Теоретику. Он не любил спорить, и какая-то мрачная искренность отмечала все его решительные выходки. Кружок далеко не во всем с ним соглашался; некоторые считали его душевнобольным, но Семенов, тоже далеко не разделявший его взглядов, ценил искренность Гурьянова. В сущности, он мало знал его действительные взгляды. Гурьянов сам не мог ни доказать, ни обосновать, ни даже ясно сформулировать их. Все его заявления, резкие, категорические и короткие,

являлись как бы откровениями под влиянием наития непосредственной природы. Семенов старался разыскать особенный смысл этих страстных выходов и часто терялся. Порой это удавалось ему лишь при помощи более или менее сложных комментариев, часто совершенно изменявших первоначальное значение высказанного Гурьяновым мнения.

Теперь, услышав решительное заявление Гурьянова относительно культуры и видя недоумение кружка, он на минуту ушел в себя, неопределенно глядя вперед задумчивыми глазами и будто что-то рассматривая в своем воображении. Всегда, в тех случаях, когда Гурьянов вмешивался в разговор, Семенов становился спокойнее.

– Наша культура односторонняя и построена на слишком узком основании, – сказал он. – Гурьянов хочет сказать, что нужно уничтожить эту односторонность.

– Гм... Кажется, он высказался несколько определеннее, – иронически заметил Чубаров.

Глаза Семенова на минуту затуманились, и он сказал задумчиво:

– Знаете ли... Пусть так... Разве стоит тратить силы на уход за тепличным растением?.. Стоит ли украшать здание, которое нужно сначала сломать, а потом подвести более широкий фундамент... Ведь при этом, все равно, все эти детали полетят к чорту.

Он говорил тоном полувопроса, как будто мысль эта еще только выяснялась для него под влиянием страстного выкри-

ка Гурьянова.

– Ну, это похоже на изречение нашего почтенного оракула, – перебил Чубаров.

Семенов покраснел, обидевшись за Гурьянова, и ответил довольно резко, стараясь двинуться вперед (Чубаров поднял кулек):

– Об этом мы уже говорили и, может быть, поговорим еще! Теперь я скажу кратко: даже наиболее резкое и интенсивное проявление деятельности культурных классов, даже допустив, что они стали бы политической силой... и то бесполезно, если не вредно. Единственная творческая сила – народ. Какое мы имели бы право навязывать ему наши так называемые политические взгляды, зная, что мы продукт одностороннего развития? Поверьте, что народ, когда он выступит на арену истории, сумеет сломать все эти изысканные стили и построить свое новое здание. Оно будет просто, сурово, и в нем будет своя красота...

– Новое небо и новая земля, – подсказал Еретиков.

– Так, так, – насмешливо одобрил Чубаров. – Подождем пока ему угодно будет выступить. А затем... прикажете присутствовать в качестве благородных свидетелей?

– Пойдите, Чубаров, – живо возразил Теоретик. – Из только что высказанного взгляда вовсе не вытекает необходимость пассивности. Нам предстоят две задачи: во-первых, отказаться от себя...

– Фью-ю-ю! – свистнул Чубаров и громко засмеялся. – Хо-

роша задача! Ну-с... А если я не желаю отказываться от себя. Не признаю самоотречения и аскетизма... Я есть я... Да, да, чорт возьми! Смотрю на себя и вижу, «яко добро ести».

Он вызывающе стал на дороге, веселый, пьяный и возбужденный. Семенов посмотрел на него холодным взглядом.

В кружке беспорядочно зашумели.

В конце концов Теоретик опять овладел словом и сказал, довольно и вкусно улыбаясь. Ему предстояло закончить формулу.

– Я утверждаю, что перед честной русской интеллигенцией лежат две задачи: во-первых, отрешиться от себя... совлечь ветхого человека... за исключением одного свойства – знания... Во-вторых, разбудить народ, загипнотизированный вековой спячкой...

– К чорту знание! – категорически произнес Гурьянов. – Просто разбудить и только.

– Но... как же? – спросил Теоретик несколько растерянно.

– Да... Толчок нужен здоровый, – сверкнул Гурьянов своими черными глазами и замолчал.

Опять поднялся шум. Перед Теоретиком потянулся другой ряд цитат. Спенсер⁵ утверждает, что только эмоция заражает и родит действие. Мысль в этом отношении безразлична... Это сбило его с прежней позиции, а так как в это время он уже овладел словом и его ответа ждали, то он стал

⁵ *Спенсер Герберт* (1820–1903) – английский буржуазный социолог и психолог. По своим философским взглядам примыкал к течению идеалистов-эмпириков.

нерешительно приводить цитаты об уме и чувстве, как факторах прогресса. Он мямлил, и спор явно уходил вничью.

Как раз в минуту этого кратковременного затишья перед глазами молодых людей, в небольшой ложбинке на траве явилась фигура Прошки. Жулик лежал в самой беспечной и непринужденной позе, сладко потягивался и издавал легкий носовой свист. Чубаров, собиравшийся возразить что-то, при виде этого зрелища остановился как вкопанный. В его глазах забегали веселые огоньки.

– Сдаюсь! – воскликнул он, – смиряюсь перед указанием свыше: вот сын народа, которого предстоит разбудить. При сем случае можем произвести и надлежащий эксперимент. Итак, господа, – заговорил вдруг Чубаров, подходя к Прошке и принимая позу и тон одного из профессоров, – прошу внимания.

Семенов нетерпеливо повел плечом и хотел пройти далее, но кружок, увлеченный внезапной выходкой Чубарова и мастерским подражанием, шумно стеснился вокруг спящего Прохора. Семенов вяло остановился несколько в стороне.

Чубаров вынул полубутылку и, употребляя ее вместо указательной палочки, уставил ее в Прохора.

– *Silentium*⁶. Начинаю. Перед нами, господа, на лоне природы в самой непринужденной и натуральной позе лежит редкий экземпляр... *Homo primitivus*⁷, непосредственная на-

⁶ Молчание. (Ред.).

⁷ Примитивный человек. (Ред.).

тура, сын народа... Прошу не перебивать!.. Дальнейшие определения – вид, подвид и индивидуальность – будут введены мною своевременно. Итак, общий родовой признак стоит вне сомнений: сын народа...

Прошка слегка зашевелился. Окружавшая его толпа и густой бас Чубарова, раскатывавшийся в воздухе, вызвали в нем некоторое беспокойство. Он повернул голову и открыл один глаз, потом закрыл его, взглянул опять, потянулся, поднял голову и, бог знает зачем, крикнул. Среди молодежи слышался смех.

– Он проснулся, – заметил Чубаров. – Тем лучше, ибо это дает нам возможность предлагать ему вопросы. Пункт первый. Ответствуй, Прохор: твое звание? Жулик?

– Пшол к чорту! – пробурчал Прошка, еще не вполне ориентировавшийся в этом странном положении.

– Проанализируем, господа, его ответ. Он великолепен; из него мы видим, что Прошка верит, во-первых, в существование чорта; во-вторых, вы видите, что он не отрицает своей профессии, не негодует, не лжет. Он просто посылает нас к чорту, разумея довольно резонно, что мы суемся не в свое дело. Однако в интересах научного исследования продолжим. Прохор! Пункт второй: понимаешь ли ты, что твое ремесло не вполне одобрительно?

Прошка был удивлен и рассержен. Он приподнялся на локте и сказал:

– Слышь, Чубаров, в морду хочешь?..

– Именно этого и ожидала от тебя наука, – снисходительно поддакнул Чубаров, и среди слушателей раздался шумный смех. – Он не отвечает на вопрос, ибо столь сложные нравственные понятия недоступны его простому разуму, не испорченному гнилой культурой. Теперь, если наука меня не обманывает, я могу предсказать ответ на третий и последний вопрос. Это будут элементарные мышечные рефлексy.

Элементарные рефлексy наступили даже ранее, чем был предложен третий вопрос. Прошка поднялся и стал засучивать рукава, оставив для устойчивости одну ногу. Намерения его были очевидны, но Чубаров, с апломбом истинно ученого человека, остановил эти приготовления.

– Постой, – сказал он. – Опыт кончен, от тебя не требуется ничего более. Выпей, брат, на здоровье и за процветание науки.

С этими словами Чубаров передал удивленному Прошке полубутылку, которую держал в руке.

Затем он слегка качнулся и не совсем твердым шагом побрел было прочь со своею веселою аудиторией.

Семенов все время стоял в стороне, наблюдая эту сцену холодным взглядом. На его загорелых щеках появился румянец негодования, главным образом против товарищей, поддавшихся гаерству Чубарова. Когда Чубаров повернулся к нему, смеясь и с горящими весельем глазами, взгляды молодых людей встретились. Веселье Чубарова сразу погасло.

– Вы полагаете, что это остроумный ответ на наш спор? –

заговорил взволнованно Семенов. – Это не ответ, а низкое балагурство, унижение человеческого достоинства... Я не хочу участвовать даже пассивно в этой пошлости...

Затем, быстро подойдя к изумленному Прохору, он снял шапку и поклонился.

– Прости нас, Прохор Иваныч, – сказал он серьезно. – Видишь, – человек выпивши...

Прохор вскинул на него осоловелыми глазами; поступок одного из студентов, только что над ним насмежавшихся, был ему еще менее понятен, чем самые насмешки; поэтому он сердито отвернулся и пошел прочь развалистою походкой, весь опустившись и убрав голову в плечи. В его фигуре было что-то до такой степени пришибленное, грустное и вместе укоризненное, что Чубаров, посмотрев ему вслед внимательным взглядом, сказал в раздумье, как будто для самооправдания:

– Бутылку все-таки унес...

Однако, когда молодые люди дошли до плотины и повернули под прямым углом, они услышали звон разбитого стекла. Прощка, пройдя несколько шагов, вдруг круто остановился, поднял обеими руками бутылку высоко над головой и с размаху бросил ее о ближайший пень. Затем он быстро и не оглядываясь углубился в чашу...

Зачем, собственно, Чубаров шел вместе с другими членами кружка по плотине, он сам не знал; до встречи с ними он направлялся к Воронину, который, без сомнения, ожидал

его с томительным нетерпением. Но вместо того, чтобы вернуться к лесной дорожке, Чубаров шел вперед, молча, сердито сдвинув брови и что-то ворча про себя. Кроме Семенова, остальные члены кружка имели пристыженный вид; они дали себя увлечь веселою выходкой и теперь сознавали, что это не соответствовало общему тону, господствующему в кружке, что они некоторым образом согрешили. Чубаров улавливал это настроение и злился. Вид Семенова, который шел в стороне с обычной спокойною и несколько грустною задумчивостью, раздражал его еще более.

– Отец настоятель, – ворчал он про себя. – Скорбит о грехах мира. Нельзя, чорт возьми, и пошутить... Чорт бы побрал весь этот возвышенный тон! И эти тоже... Идут, как в воду опущенные... Согрешили... чувствуют...

Ему хотелось громко выругаться или удачно сострить и, круто повернув, отправиться на дачу Воронина, где его нетерпеливо ждали. Но в это время в конце плотины показалась фигура старого студента Арфанова или, как его называли в шутку, «князя Арфанова».

Это был высокий, стройный брюнет, в небольшой крымской мурмолке на густых кудрявых волосах, в которых вблизи можно было разглядеть редкие серебряные нити. Он был в высоких сапогах, что-то вроде серого казакина ловко перехватывало гибкую талию. Широкие плечи, крутая грудь, тонкая талия, гибкая походка – все обличало кавказца. Черты лица были правильны, в черных глазах виднелась надмен-

ная усмешка и как будто усталость. Он беззаботно насвистывал какую-то песенку и ловкими взмахами хлыста срезывал слабые ветки ветел, росших по одну сторону плотины. На встречную кучку студентов он поглядел равнодушным, несколько надменным взглядом. Только заметив Чубарова, он весело улыбнулся.

– Куда же вы с этим? – сказал он, указывая взглядом на кулек. – Кажется, не по назначению?..

– Да, мы тут... заговорились немного, – сказал Чубаров, чувствуя облегчение от встречи с колоритной фигурой старого студента. – Теперь я с вами обратно... Вы, конечно, тоже к Воронину?..

– Да... Вчера я немного... смалодушествовал, – ответил Арфанов. – Кажется, – прибавил он, – мы немного пошумели с Вильфридом. Да?..

Он искоса посмотрел на Чубарова вопросительным взглядом, но его тонкое лицо оставалось сдержанно. Чубаров вспомнил, что во время пирушки Арфанов устроил дикий дебош. Во хмелю он был совершенно неистов и на другой день ничего не помнил. Вчера пьяные товарищи силой удалили его из своей компании. Но теперь, глядя на его спокойные, изящные черты, Чубаров не решился напомнить об этом и сказал только:

– Да, было кое-что... Так, пустяки...

– Куда же это вы шли сейчас? – спросил Арфанов.

– А! Чорт знает куда! – ответил Чубаров с кислым ви-

дом. – Кажется, ко граду взыскуемому.

Тонкая улыбка шевельнула красивые мягкие усы Арфанова.

– С кульками? – спросил он. – Но вы что-то сильно не в духе?

– Будешь в духе...

И, поддавшись дурному настроению, которое так и не нашло исхода в какой-нибудь выходке по адресу Семенова или всего кружка, он стал изливать свою досаду перед Арфановым.

– Чорт знает... Настроение какое-то... особенное. Пошутить нельзя. Грех, и сейчас высокие слова... Просто удавиться с тоски впору... Ей-богу...

– Что же, собственно, случилось?..

– Да ничего особенного. Видите ли... Купил я эти все истории, – он указал глазами на кулек, – иду назад к Воронину. Братия ждет, конечно, с нетерпением. На беду, гляжу: ползут наши из Москвы. Сходка там была... Полиция нагрязнула... Протокол... Идут и договаривают тут дорогой, чего там не договорили... Все о том же предмете: *Magnus ignotus*... великий незнакомец, именуемый народом. Роль интеллигенции – пробудить его от векового сна... Теоретик тут с цитатами из Спенсера, Гурьянов с пифийскими изречениями, которые Семенов пытается комментировать. Ну, меня нелегкая дерни вмешаться спьяну-то... Слово за слово – полезли на стену... А тут, кстати или некстати, у самой нашей дороги

– Прошка...

– Жулик?

– Ну да. Лежит вон там у вала, по тропинке к даче Воронина, в ложбиночке. И лежит, подлец, во всей непосредственности. Спит, как младенец, и морду выставил на солнце. А тут речь идет как раз о возможном пробуждении народа для великого будущего... Ну, понимаете... Тема соблазнительная...

У Чубарова в глазах забегали веселые огни...

– Я им, так сказать, *in anima vili*⁸ прочел небольшую лекцию в тоне профессора Лемана...

Арфанов захохотал вдруг сразу необыкновенно красивым и заразительным смехом. Он любил шутку и понимал юмор. Это подняло упавшее настроение Чубарова, и он передал в кратких чертах, с некоторыми удачными вариациями, весь эпизод вплоть до слов Семенова об оскорблении личного достоинства жулика Прошки.

– Личное достоинство, – сказал Арфанов с тонкой усмешкой на красивых губах. – Вещь очень хорошая... На этот раз только, кажется, не по адресу. Вероятно, от преувеличенного личного достоинства у Прошки морда вечно припухшая...

Теперь Чубаров в свою очередь захохотал во всю октаву.

– Ха-ха-ха... Чорт знает, что такое... Нет, это великолепно. Чорт знает, чего бы не дал, чтобы это словечко пришло мне в голову в ту минуту...

⁸ На простейшем существе. (*Ред.*).

Он чувствовал себя опять в своей тарелке. Кислое настроение прошло. Правда, где-то в глубине души шевелилось угрызение совести при мысли, что он высмеивает за глаза и перед чужим людей, к которым, как бы то ни было, питает невольную симпатию и с которыми в гораздо большей степени связан в идейном смысле.

Однако это ощущение гнездилось где-то далеко на дне души.

Оба студента свернули с плотины и вскоре затерялись на зеленой тропинке по направлению к даче Воронина.

1887

Примечания

По сохранившимся в архиве Короленко черновикам видно, что он начал писать эту повесть в 1880 году. Черновая рукопись, озаглавленная «Прошка», содержит все главнейшие эпизоды, вошедшие потом в опубликованный в первом и втором номерах журнала «Русская мысль» за 1887 год текст, представляющий собой лишь начало повести. По цензурным условиям продолжение ее не могло быть напечатано, и Короленко работу над повестью приостановил. Его желание вернуться к ней впоследствии, о чем он говорил в своих письмах, так и осталось неосуществленным.

В письме редактору «Русской мысли» В. А. Гольцеву от 11 марта 1894 года Короленко излагает содержание незаконченной части повести: «Проход попадает случайно в среду студентов и испытывает на себе влияние этой среды, которая в свою очередь видит в нем «сына народа» и в этом качестве возлагает ни него какие-то наивные и неясные ожидания. Проход исправляется, перестает жульничать, нанимается на работу в академию, усердно чистит дорожки в парке и на Выселках, в промежутках выучивается читать. Все это обращает на себя внимание его собственной среды. В первых главах я изобразил уже ту чисто русскую терпимость, с которой Выселки относились к подвигам Прошки на перекрестке. Но та же среда не может простить ему нового «по-

ведения», которое кажется ей, выражаясь по нашему, «тенденциозным». Он не жульничает, почему? Он перестал пить, не участвует в кулачных боях? Он начинает читать книжки и отпускает не без важности разные сентенции на счет обывательских безобразий... Все это кажется «не спроста», все это заставляет задумываться и даже сердит бесхитростного обывателя... Этим чувствам придает окончательную форму выселковский политик, жандарм, обязанный «следить» за студентами и по-своему исполняющий эту обязанность. Он в кабаке организует отряд добровольцев, которые доводят до его сведения о каждом слове и движении Прохора, о его новых знакомых. Прежний жулик Прошка, свободно отправлявший свою профессию при благодушной снисходительности своих односельцев и пользовавшийся репутацией доброго малого и вполне «благонадежного» обывателя, – теперь окружается совсем особенной атмосферой, в которой и назревает гроза. Необходимо только «публичное обнаружение» неуловимого вредного влияния – и гроза разразится. Оно тоже не заставляет себя ждать. Около академии происходят маневры войск. После жаркого боя возвращается отряд гусар, и полковник, выехав из тучи пыли, едет по тротуару. Прошка, на обязанности которого лежит чистка дорожек и тротуаров в этой местности, загоразивает ему дорогу и, не различая в запыленном кавалеристе важного начальства, требует, чтобы он съехал с тротуара. Когда тот хочет продолжать путь – Прохор схватывает коня под уздцы и сводит на

дорогу. Тогда Прошку окружают несколько конных гусар, и слободка видит воочию осуществление своих предсказаний: Прошка идет по улице под грозным конвоем. Его приводят к старосте, и здесь полковник, спешившись, пишет, положив бумагу на седло, несколько слов, требуя для Прохора примерного наказания. Затем отставший отряд исчезает в туче пыли, а Прохор остается.

В слободке собирается сход – судят Прошку. Обвинительным актом служит записка полковника, на которой неразборчиво нацарапано несколько слов. Сход у избы старосты под открытым небом. Невдалеке два-три студента, принимающие участие в судьбе Прошки, с другой стороны – жандарм, принимающий в той же судьбе участие с своей точки зрения, все происходящее должно подтвердить и укрепить эту точку зрения. Прошка оправдывается. Он говорит о том, что полковник не имеет никакого «полного права» ездить по тротуарам, которые назначены для пешеходов. Сход в других обстоятельствах, может быть, и согласился бы с этим, и кое-какие голоса раздаются в том же смысле (что политик относит тотчас же на счет «вредного влияния»), но «лучшие люди» – лавочник, трактирщик, два – три мужика побогаче и безличная масса находят, что Прошка слишком высоко о себе понимает, думая, что он может быть прав в столкновении с таким важным начальством. Наконец, слободка привыкла уже к тому, что в таких случаях, когда «важные лица» требовали удовлетворения, Прошка многократно и доброволь-

но становился очистительной жертвой, вынося наказание с шутливым цинизмом отчаянного и потерявшего стыд человека. Теперь не то. У Прошки явилось откуда-то чувство собственного достоинства – как один из результатов тенденциозного влияния «кружка». Он настаивает на своей правоте, отказывается подчиниться решению схода и на убеждения иконописного старца, местного лавочника, человека уважаемого и строгого – принести себя, наконец, в жертву за мир, который не может не удовлетворить оскорбленного начальства, предлагает, если он считает нужным, самому лечь под розги. Это переполняет чашу, на Прошку кидается староста и приказывает привести неоформленный даже приговор в немедленное исполнение. Прохор защищается, один из зрителей студентов – прежнего типа, атлет и забубённая головушка, не раз вступавший в единоборство с «прежним» Прохором, когда оба пьянствовали в местных трактирах, – кидается на помощь Прошке и вдвоем они разносят сход. Освобожденный Прошка скрывается в студенческую квартиру, в слободке волнение, а жандарм, которого я имел в виду изобразить человеком вполне добросовестным, правдивым и искренне убежденным в зловредности всего, что связано с самим именем «студента», – пишет донесение по начальству с изложением, совершенно точным, всего происшедшего. Совершенно понятно, что теперь возникает весьма серьезное дознание, атмосфера, окружавшая Прошку, сгущается и насыщается электричеством. В одну прекрасную летнюю ночь,

полную чарующей прелести, одну из тех ночей, которую молодость населяет смутными ожиданиями и волшебными грезами, – в академию являются «власти», начинается какое-то таинственное движение по дачам, в которых видны огни и движущиеся фигуры – и коляска за коляской исчезает в ночном сумраке, под робкий шопот притаившихся в палисадниках и меж деревьями Выселков. Прохор прокрадывается к окнам своих друзей, но его уже ждут. Ночной воздух оглашается криками: держи! лови! Прошка кидается в парк, некоторое время там слышны еще голоса преследователей, но их немного, и Прохор, страшный, с корягой, в руках, обращается против них, и они бегут...

После этого, спустя год – на перекрестке двух дорог, известном по началу рассказа, – опять появляется Прохор в прежней роли. Теперь он уже не щадит «своих односельцев». Первый подвергается ограблению лавочник, вторая жертва – жена жандарма, возвращавшаяся из города с покупками. Если нужно было еще какое-нибудь доказательство «вредного влияния» студентов на Прохора, то теперь оно налицо, в тенденциозности этих его грабительских подвигов. Впрочем, убежавши в тот вечер, он долго скрывается в Москве, с прежними товарищами ночных подвигов – и судьба уже более не сводит его со студентами «кружка», которых жизнь идет уже другими, своеобразными дорогами. Вот тебе остов этой истории, многие эпизоды которой уже написаны, но, как видишь, в целом это история нецензурная еще на долгое вре-

МЯ».